

Худые и добрые

Встретились как-то худые слова с добрыми. Худые — так и рвутся в драку, а добрые этого никак не замечают. Как так?! Совсем худые слова расшвирители: и кулаками машут, и кричат громко, и никого вокруг не слышат. А добрые улыбаются. Тогда решили худые слова наброситься на добрые и побить их. Разбежались хорошенько и — пролетели мимо ушей. А добрые — остались.

Биби

Ай, биби! Джан, биби! Какое это счастье, когда у тебя есть биби! А если их две? А если у кого-то ещё больше? Когда я был маленьким, у меня было целых две биби: Азизбеим-биби и Рубаба-биби. Родные люди. Сёстры моего отца, мои тётки. Не просто тётки, а именно — сёстры отца, потому что сёстры матери называются иначе — хала. Братья отца и братья матери тоже называются по-разному. Они тоже прекрасные люди, и я непременно их упомяну, но сейчас речь о биби.

Худенькая маленькая Рубаба-биби, самая бедная из всей семьи, но с самой неопишимо щедрой душой, — вот она, стоит на краю зелёной лужайки перед домом своим в Уладжалах на берегу реки Куры, растопырив заскорузлые крестьянские пальцы, распахнув крылья-руки, и кричит от радости, зовёт, подзывает меня к себе, маленького Эльдара, сына её любимого младшего брата Алихаса! А потом — обнимает меня, поднимает на руки и целует, целует...

Ай, Рубаба-биби!!! Бегают по двору мальчики и девочки, дети биби, ловят последнюю курицу, чтобы угостить гостя, меня угостить. И все улыбаются, счастливые, никому и в голову не приходит жадничать, потому что и мама у них такая же... Бессребреница. И радость — искренняя, от души.

Помню и набожную Азизбеим-биби, строго соблюдавшую все часы молитв Аллаху. Старшая по возрасту, больше похожая на бабушку, чем на тётку, радовалась и она моим приездам. Ай, бала, сынок, иди, гуляй по саду и огороду, срывай всё, что хочешь, всё — твоё. А там — и персики, и арбузы, и дыни, и сливы, и алыча, и помидоры, и гранаты. ... ничего не жалко для маленького Эльдара, внука её отца Аббасгулу и матушки Сярфиназ, ткавшей

когда-то волшебными перстами своими настоящие чудесные муганские ковры!

Нет их теперь, давно уже нет, только память порой возвращает тепло их рук и нежность их слов... Уже сестра моя, Шафа, имя которой гордо носит парусный двухмачтовый бриг в далёком Средиземном море, стала бибишкой. И с удовольствием возится она со своими племянниками — большими и маленькими, исполняя их детские желания, радуясь им...

Ай, биби! Джан сянэ, биби! Как хорошо, что есть на свете такое детское доброе слово — *биби!*

Из-за тебя

Если у тебя убыло нечто, не огорчайся, но возрадуйся за ближнего своего, ибо прибыло у него. У Бога всё соразмерно. И когда убывает тебе — у другого становится меньше. И так всегда. И потому: не спеши ликовать и не торопись огорчаться о себе, но умеи сорадоваться другому и печалиться о его печали, ибо все они — из-за тебя.

Талыб

Всю ночь при свете полной луны просидел я на берегу озера Ахмаз в долине реки Куры, напрасно ожидая рыбьей поклёвки. Моя закидушка — леска с рыболовными крючками и грузилом на дальнем, затонувшем в озере, конце — не шелохнулась ни разу. При полном безветрии долго-долго смотрел я на зеркальное отражение луны в озере и слушал тоскливый вой шакалов из непроходимого тугайного леса, расположенного неподалёку в пойме реки. Мне, девятилетнему мальчику, казалось, что где-то там, среди прячущихся в чаще дикобразов, лисичек и барсуков, обитают сказочные, ещё никем не виданные существа.

На рыбалке я был не один, со мной был Талыб — подросток лет четырнадцати, мой родственник. Вернее, это я был при нём, конечно. Талыб казался мне взрослым парнем. Он был местным, уладжалинским, поскольку вырос при матери здесь же, в селе Уладжалы на берегу Куры. Вечером мы вместе накопали червей в траве у плетня, взяли кусочек теста, смешали его с хлопком, чтобы не разваливался в воде, и отправились к Ахмазу.

Из-за шакальего воя или из-за полнолуния, но я так и не уснул до самого рассвета. Глубокой ночью несколько раз видел плавные зигзаги посреди озёрной глади. Это резвились водяные змеи, чей яд смертелен для рыбы, но человеку вреда не делает. Как говорят. Впрочем, не проверял.

Стало светло. Взошло солнце. Вдруг катушка с леской, прежде безвольно висевшая на прибрежном кусте, резко сорвалась с него и полетела в воду. Я едва успел схватить её и попробовал потянуть леску на себя. Но из этого не только ничего не получилось, а наоборот: леска, которую я не отпускал, держа её обеими руками, потянула меня прямо в озеро. Я испугался и закричал:

— Талыб!

Меня утаскивало всё дальше. К счастью, Талыб проснулся, крикнул в ответ:

— Я здесь! — вскочил и подбежал ко мне, стоящему уже наполовину в воде.

Он перхватил у меня леску и начал тащить её на себя. Леска бешено сопротивлялась. Это длилось довольно долго, но всё-таки парню удалось вытянуть её. На самом конце натянутой нити мы оба увидели то, что было причиной поведения взбесившейся лески: огромного, как мне тогда показалось, метрового судака! Напоследок он успел своим острым, как бритва, взметнувшимся спинным плавником порезать Талыбу ладонь.

Наверное, я кричал, потому что вскоре прибежала встревоженная мама Талыба, их дом был совсем рядом, и увела его перевязывать руку. Всё обошлось. Мы, мальчишки, торжествовали. Никогда в жизни до этого и потом я не ел такой вкусной пищи — судака, пойманного в озере Ахмаз и приготовленного матерью Талыба...

Но не это главное в воспоминаниях о том давнем событии. Почти пятьдесят лет прошло, а сколько раз, когда в моей жизни происходило что-то внезапное и требовалась немедленная помощь, первое, что невольно хотелось сделать, — это крикнуть: «Талыб!» — и услышать в ответ: «Я здесь!» Как тогда...

Оглы

У меня есть имя. Есть фамилия. А есть отчество. У всех они есть. У каждого своё. У меня отчество азербайджанское, из двух слов: первое — имя отца, а второе — «оглы», что в переводе значит «сын». Нет в азербайджанском языке окончаний «ович» или «овна». Только «оглы» или «кызы» (дочь). Всё бы ничего, но я в России живу больше четверти века, а здесь это не всеми и не всегда адекватно воспринимается. И на работе бывали сложности. Вроде мелкие: ну, похихикает кто-нибудь, ну, «чёрным» как-то раз в спину назвали. Не в лицо, нет. В лицо постеснялись. Я ведь по-русски говорю и пишу получше, чем многие из них. И соображаю неплохо. Вот и постеснялись.

На улицу выхожу всегда с паспортом. В принципе, нигде, кроме Москвы, проблем не было. Да и в столице, тьфу-тьфу, обошлось. Остановили пару раз, проверили, прочитали, и такое холодное недоверие в глазах — из-за того, что я «оглы», а не «ович»... Всё равно как-то неприятно, неуютно, что ли... Как будто я что-то плохое сделал и скрываю...

А годы были тревожные, бандитские, девяностые. Вот и советует мне однажды моя русская жена:

— Зачем тебе это «оглы»? Ты же и говоришь по-русски, и думаешь по-русски, и живёшь в России. Сходи в паспортный стол, поменяй отчество, заплатишь и станешь Александровичем, как режиссёр Рязанов, или Алексеви́чем каким-нибудь. И детей наших в школе дразнить перестанут. А?

Задумался я. Достал фотографии отца, матери, сестёр... И тут выпала из пакета с фотографиями старая бакинская газета. Январская. Девяностого года. На ней — городская площадь у берега моря, вся покрытая бесчисленным людским морем. В городе действует комендантский час. На улицах танки, бронетранспортёры, пулемёты, тысячи вооружённых солдат. Больше трёх человек собираться запрещено. А народ вышел на площадь. Не побоялся народ ни арестов, ни смертей. Поэт Галич когда-то пел:

Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Где стоят по квадрату
В ожиданье полки...

А ведь полки действительно стояли в ожидании приказа. И над площадью барражировали военные вертолёты. Но люди, простые безоружные люди, бакинцы, шли и шли на эту площадь. И их было не остановить никому!

Никаким солдатам, никаким пулемётам, никаким танкам. Они шли хоронить своих детей, убитых солдатами в ночь на двадцатое января. В этих продолговатых прямоугольниках на фотографии — убитые. Я не знаю, как их звали: сотни убитых, молодых, пожилых, юношей, девушек, детей, стариков...

У каждого из них было имя. Была фамилия. И было отчество... Первую часть их отчеств — я не знаю, но вторую — не могу и не смогу забыть, где бы я ни был.

Я — оглы, я — сын моего отца и моей матери. Был и останусь. Нацисты, скинхеды, бритоголовые — не важно, кто встретится на пути, я останусь тем, кем родился.

За Шушу

Наша жизнь состоит из случайностей, которые невозможно предугадать. Например, откуда было

мне знать, что мой собеседник, Виктор Левченко, лежащий на соседней правой от меня койке в нашей шестиместной больничной палате, через пятнадцать минут умрёт? А он так и сделал: говорил со мной, говорил, потом замолчал и умер. Это третий труп в моей палате номер семь за последние несколько новогодних дней. Кроме того, ещё за двоими пришли ночью и молча увели их с вещами в ковидный корпус. Похоже, и сегодня ночью тоже кого-то уведут: ещё один товарищ резко затемпературил, захрипел и начал задыхаться. У нас хирургическое отделение, не ковидное. Как я сюда попал? Обстоятельства так сложились. Цепь обстоятельств: вынь любое звено — и всё могло бы сложиться иначе...

Вот уже двенадцать лет у меня сахарный диабет. Осенью этого года он дал осложнение на ноги: начали опухать стопы. Несмотря ни на что, в условиях ограничений по ковиду, я старался каждый день выходить на прогулку. Гулял возле дома. Автобусом пользовался редко: в октябре два раза и один раз в ноябре. И потому не знал о том, что с первого ноября появилось дополнительное требование властей: в маске теперь нужно было находиться не только внутри автобуса, но и на остановке. Как известно, десятого ноября при посредничестве России завершилась война между двумя государствами Закавказья.

А через двенадцать дней, двадцать второго числа, мне понадобилось расписаться в бухгалтерских документах, для чего пришлось сесть в автобус и доехать до центра города. На это ушло минут тридцать. Расписался. Оставалось дойти до остановки и уехать домой. Однако перед самой посадкой в автобус я был задержан полицейским за то, что не надел маску на остановке и не имел при себе паспорта. Когда я показал свою именную социальную транспортную карту с ФИО и фотографией, решимость полицейского задержать меня явно окрепла. На двоих других стариков без масок на остановке сержант уже никак не отреагировал. Я стал его приоритетом. В тот момент я, разумеется, понятия не имел о том, что задерживает меня волею случая (а случай — «бог-изобретатель», по словам Пушкина!) представитель национальности, только что проигравшей закавказскую войну! Задержать и наказать за что-нибудь именно меня для него, вероятно, стало идеей-премиум. Я говорил ему о том, что у меня больные опухшие ноги, что их нельзя долго держать в тесной обуви. Бесплезно. Вместо часа с небольшим я провёл в таком состоянии больше пяти часов. Естественно, моя болезнь от этого резко усугубилась. После того случая я уже был не в состоянии выходить из дома. Кончилось (надеюсь, что кончилось) тем, что меня увезли в хирургическое отделение больницы скорой помощи и ампутировали средний палец и часть плюсневой кости моей правой ноги.

Я не стану ни судиться с тем полицейским, ни мстить ему. Парню всего двадцать с небольшим... А мой утраченный палец... Если это было так уж принципиально для составителя протокола, пусть считается пострадавшим за взятие Шуши. Мне для Родины пальца не жалко.

Кутум и Сабаил

Rutilus frisii kutum

Живёт в Каспийском море сказочная рыба кутум. Больше нигде не живёт, только здесь. Миллионы лет стада кутума паслись в море, питаются исключительно моллюсками. Зубы кутума идеально устроены для того, чтобы разгрызать ими мелкие морские ракушки и добывать себе таким образом корм. Миллиарды тонн перемолотых кутумом ракушек сотни миллионов лет опускались на дно моря. И однажды посреди моря появилась суша, состоящая из перемолотых рыбьими зубами ракушек. И вырос на этой земле дворец, и возникло древнее царство. Правила им мудрая красавица — царица Сабаил. Прославилась она своей учёностью и красотой на весь мир. Услышал о ней великий царь Сулейман, пригласил в гости, а когда увидел — влюбился в неё без памяти.

Тысячи роскошных звёздных ночей провели они вместе, и каждую ночь прекрасная Сабаил рассказывала Сулейману новую историю из жизни своего народа или новую легенду.

Через много веков почти всю землю древней царицы Сабаил вновь поглотило море. Остался только маленький узкий гористый клочок суши — Баиловский полуостров.

На этом клочке земли, продуваемом насквозь солёными морскими ветрами, однажды родился я. И всякий раз, когда я проезжаю мимо, мне снова слышится мамин голос: «Смотри, сынок, ты родился здесь...» Я люблю эту землю, этот маленький клочок суши на семи ветрах. И всегда помню о рыбе кутум...

Древний город из песка и ракушек, перемолотых острыми зубами рыбы кутум, у подножья пустынных прибрежных гор — весь пронизан морскими ветрами. Штормит беспокойное море. Бушует. Дышит ветром, вздымая волны, успокаиваясь лишь изредка и ненадолго — то под знойным солнцем, то под тягучими облаками или светлоликой луной. Рябью пробегают по нему сны, вспыхивают мурашками и тут же исчезают в изумрудной пучине давние сказочные воспоминания. И в эти мгновения становятся явственней в его глубине полуразмытые волшебные очертания города-замка Сабаил...

Пятнадцать башен возвышались над стенами крепости. Три круглые и двенадцать полукруглых. Маяк, каменные пандусы, широкие лестницы, водопровод, причалы для кораблей, а по

верху крепостных стен—каменные плиты с резными письменами на арабском и языке фарси... В них—имена и титулы правителей и выдержки из Ал-Корана. Но здесь не только надписи! Над именем каждого правителя в строгой симметрии видны портреты людей, изображения зверей, птиц и фантастических существ. Что это за существа? Может быть, геральдические знаки повелителей страны? Или их зодиакальные знаки? На одной из плит найдено слово «гюрджи» и портрет грузинской царицы Тамары. Некоторые плиты-фризы с рельефными изображениями и надписями незакончены, намечен лишь контур рисунка... Существуют предположения, что трубы в Сабаиле служили не только для воды и канализации: по ним из естественных источников поступал в древний город природный газ.

Кому, кроме своих правителей, поклонялись люди, жившие там? Аллаху? Но Коран недвусмысленно запрещает изображать людей и животных. Огню? Но при чём здесь выдержки из Корана? Быку, чьё священное изображение-тотем до сих пор над Восточными крепостными воротами приморского города и на камнях возле его Девичьей башни? Но на каменных плитах Сабаила—фрагменты изображений лошади и льва в натуральную величину.

Некоторые придают названию замка религиозное значение, утверждая, что слово «Сабаил» состоит из трёх слогов: «Са»—три, «ба» и «ил»—бог. То есть место встречи трёх богов: воды, неба и подземного огня. По утверждению исследователей, здесь собирались огнепоклонники со всего Древнего Востока и их жрецы совершали в Сабаиле свои священные обряды. Так это или нет—фактическое предназначение многих помещений на территории крепости, её историческая роль и истинная причина разрушения остаются загадочными, вызывая споры.

Я верю, что когда-нибудь воды моря отступят и вернут людям то, что в былые времена принадлежало их предкам. «Sabah» означает «завтра», «sahil»—берег. Sabail—мой завтрашний вечный берег...

Мои татары

Никогда не забуду день девятнадцатое октября 2019 года, день, когда мне дважды довелось выступать в Казанском государственном университете: сначала перед студенческой аудиторией со стихами, а потом перед научной профессорской—с научным докладом о Державине и Пушкине. В Казани я был впервые, гордый вид Казанского кремля и сокровища библиотеки Казанского университета произвели на меня неизгладимое впечатление.

Я навсегда запомнил радушное гостеприимство казанцев: прекрасный концерт, организованный по случаю завершения Державинских чтений, на котором удалось пообщаться накоротке

с председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Хайрулловичем Мухаметшиным, замечательную прогулку по вечерней Казани с магистром филологии Верой Петровной Хамидуллиной, интереснейшую беседу об истории культуры Татарстана с директором Национальной библиотеки, а ныне заместителем министра культуры Республики Татарстан Сюзумбикой Разильевой Зиганшиной, общение с директорами музеев Фаридой Гафиуллиной Муртазиной («Музей Лаишевского края имени Г. Р. Державина»), Фаридой Бакиевной Салимовой (музей детской литературы), Ладой Валерьевной Аюпововой (музей А. С. Пушкина). И, конечно, особо памятным стало общение с выдающимися учёными Казанского университета: с доктором педагогических наук, профессором Альфией Фоатовной Галимуллиной, с доктором филологических наук, профессором Алексеем Николаевичем Пашкуровым, с доктором философских наук, профессором Натаном Моисеевичем Солодухо...

Гостями Державинских чтений, с которыми мне удалось не только пообщаться, но, смею надеяться, и немного сдружиться, была супружеская пара из Франции—мадам Надин Грегори-Бестужева (Панаева), дальняя родственница Гавриила Романовича Державина, и её супруг Жан-Клод Грегори, а также писатель, публицист и переводчик бельгийского короля Филиппа месье Тьерри Мариньяк. Вместе с нами был мой друг, так же как и я, гость державинских мероприятий, известный московский поэт и критик Александр Николаевич Карпенко. Благодарен ему за моральную поддержку и активное участие в чтениях.

Если по отцовским предкам и по месту рождения я, безусловно, имею прямое отношение к Азербайджану, то по материнским—к лесным татарам-мишарям левобережного Поволжья России. «Люблю и помню»—называлась моя повесть о татарских предках, в которой я пытался, как мог, рассказать о судьбе своей татарской родни на протяжении полутора веков российской истории. Повесть несколько раз издавалась и переиздавалась (2013–2015 годы), дополнялась и исправлялась.

Отправной географической точкой своих записей я избрал татарское село Усть-Уза Шемьшейского района Пензенской области, где в 1899 году родился мой дед—Улубиков Хасян Юсупович. Его родителями были Юсуп и Халимия Улубиковы, младшими братьями—Мирза (1912 г. р.) и Джафяр (1923 г. р.), а сестрой—Зяйнаб.

До революции семья была зажиточной. У прадеда Юсупа были приказчики, были земли—свои сады и поля. Мой дед учился в татарском медресе, знал арабский язык, умел считать, писать и читать: и по-русски, и по-арабски (свободно читал Коран на языке Пророка). В родном селе был в 1928–1929 годах председателем сельсовета,

а в 1935 году — первым председателем колхоза «Заря». Однако в годы сталинских «чисток» ему, как и многим односельчанам, пришлось покинуть родное село и перебраться в Ленинград. Младший его брат, Мирза Улубиков, к началу Великой Отечественной стал профессиональным военным: командовал экипажем танка. Служил он в Двинске (ныне литовский Даугавпилс).

К началу войны семья Хасяна Юсуповича Улубикова состояла из супруги (моей бабушки) Афи-фи Айнетдиновны Улубиковой (в девичестве Яфаровой), 1904 г. р., старшего сына Ханяфи Хасяновича (Фёдора Васильевича) Улубикова, 1924 г. р., дочери Мушвики Хасяновны (в русской среде — Нины Васильевны), 1926 г. р., дочери Закии Хасяновны (Зои Васильевны), 1929 г. р., дочери Сании Хасяновны (Александры Васильевны), 1937 г. р., и младшего сына Хариса Хасяновича, 1941 г. р. Сания Хасяновна — моя будущая мать. Адрес, указанный в анкете как место проживания, — Ленинград, улица Декабристов, дом 11, квартира 11. Там и застала их война, нанёсшая огромный урон моей татарской родне. Сестра деда Зяйнаб и пятеро её детей умерли в Ленинграде от голода. Они похоронены на Пискаревском кладбище, в братской могиле. Умер от голода и младший братишка моей матери. А старший — партизанил, освобождал Лугу и Оредеж, воевал в польском партизанском отряде, но так и не вернулся с войны в марте 1945-го. Не дождалась с войны единственного сына Али и старшая сестра моей бабушки — Нафиса.

Дедова брата, Мирзу Улубикова, и его жену, Марию Исмайловну, проживавшую, по архивным данным, в оккупированной немцами Гатчине, за участие в подпольном Сопротивлении зверски казнили фашисты. Младший брат моего деда, Джафяр, после двух «похоронок» вернулся в Усть-Узу к матери Халиме живым, но ужасно покалеченным: ему бомбой оторвало нижнюю челюсть. Мой дед пострадал в более лёгкой степени: ему ампутировали пальцы на правой ноге, чтобы спасти от гангрены остальную часть ступни.

Кончилась война, и жизнь татарской семьи продолжилась в детях, внуках и правнуках.

Несколько слов нужно сказать о происхождении матери моего деда — Халими.

До замужества у неё была фамилия Мартынова: Халимия Арифулловна Мартынова. Она выходит замуж за Юсупа Улубикова, и в 1899 году у них родился мой дед — Хасян Юсупович Улубиков. Кроме Халими, у Арифиллы Мартынова позднее родились сыновья Абдулла (1903), Ибрагим (1905) и Хайрулла (1907). Халимия была дочерью Арифиллы от первого брака (первая жена Арифиллы из-за болезни рано умерла). А его сыновья родились уже от второй супруги. Поэтому Халимия — единственная сестра своим братьям по отцу, но не единоутробная по матери. Абдулла Арифуллович

Мартынов женится на Курмаевой Мярзие Романкызы. От них рождаются дети — Равиль и Гельжиган, которые погибли в блокаде, и оставшийся в живых сын Анвар Абдуллоевич Мартынов. Анвар Абдуллоевич женится на Бибинюр Ибрагимовне Байкеевой (из касимовских татар). Они в 1946 году становятся родителями Мартынова Равиля Анверовича (Энверовича), которому предстояло в дальнейшем стать основателем, руководителем и выдающимся советским и российским дирижёром Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра. В 2004 году Равиль Энверович, к великому сожалению, скончался, но его музыкальную стезю продолжил его сын, мой родственник, которым я искренне горжусь, — выдающийся трубач оркестра Марининского театра оперы и балета Тимур Равильевич Мартынов.

Продолжим описание древа нашей родни. Ибрагим Арифуллович Мартынов был женат на Эшрэф Тифтуллиной. Их дети — Мингач, Рифат и Алия. Алия Ибрагимовна Мартынова — кандидат физико-математических наук, многие годы преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете. Жаль, что я не знал об этом в годы своей учёбы в Санкт-Петербургском горном университете: оба вуза находятся на Васильевском острове, неоднократно заходил в госуниверситет, но он — большой, не зная, случайно встретить родственника — практически нереально.

Хайрулла Арифуллович Мартынов, самый младший брат моей прабабушки Халими, женился на Эшрэф Хасяновне Шамшетдиновой. Их детьми были Садык (1936), Харич (1939), Адильша (1941), Няймя (1945) и Шамиль (1949). В настоящее время жива только Няймя Хайрулловна, которая проживает с мужем в Санкт-Петербурге, где многие годы занималась кройкой и шитьём, прекрасно вязала и шила. Старший из её братьев, Садык, скончался первого ноября 2016 года. Пусть земля будет ему пухом...

Таким образом, можно констатировать, что двоюродная тётя моей матери жива и поныне. Это радует и маму, и меня...

Тут, наверное, нужно пояснить читателю одну уникальную языковую особенность жителей татарского села Усть-Уза, которая подтверждена крупнейшими татарскими учёными и которая не встречается более нигде в России: жители Усть-Узы разговаривают нараспев. То есть природная музыкальность — в самой интонации их речи. От рождения! Не верите мне на слово? Правильно. На слово не верьте — обратитесь к научным работам такого корифея лингвистики, как Эдхям Рахимович Тенишев (1921–2004) — советский и российский тюрколог и монголовед, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией тюркологии и монголистики Института языкознания РАН, главный

редактор журнала «Тюркология» и многотомного издания «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков». В его научном труде «Язык татар села Усть-Уза», опубликованном в книге «ТАТАРИСА», изданной на русском, татарском, финском и английском языках, этот уникальнейший в истории лингвистики случай описан со всей научной скрупулёзностью.

В том, что моя татарская родня и впрямь певуча и музыкальна, я ещё раз имел возможность убедиться весной 2016 года во время встречи в Москве перед вылетом в Буэнос-Айрес моей семьи с семьёй дочери мамино двоюродного брата Сании Рызадиновны Шакировой, моей троюродной сестры. Сания Рызадиновна — выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных (дирижёрско-хоровое отделение), почётный работник образования Российской Федерации, почётный работник культуры города Москвы. Гнесинку она окончила в 1991-м. С тех пор уже более четверти века она посвятила преподаванию. В московской школе имени Фёдора Михайловича Достоевского её знают, любят и уважают. С ноября 2012 года Сания — художественный руководитель, дирижёр и хормейстер народного ансамбля «Идель» Татарского культурного центра города Москвы.

Мы хорошо, по-семейному, посидели тогда за гостеприимным и щедрым столом наших родственников, послушали музыкальные пьесы и песни в исполнении Сании Шакировой. Потом сыграла на фортепиано и моя младшая дочь Руслана. А потом была наша общая родственная татарская фотосессия: на памятной фотографии — мамина двоюродная сестра Рашида, хозяйка дома Сания, её супруг Шамиль, их дети — сын Наиль и дочь Гузель, их теперешние супруги Равиль и Наилья и мои дети — Роман, Мария, Руслана и Тимур. Ну и я, конечно.

Электронная почта время от времени приносит мне весточки с пензенской земли, где живёт и поныне моя татарская родня: Людмила Невмитулина, Ания Трошкина (Улубикова), Альфия Аббязова, Раф Аббязов, Нелли Якунина, Алексей Невмитулин, Джалия Улубикова, Галия Яфарова, Амина и Камила Яфаровы, Дамир Улубиков, Ринат Курмакаев, Гузель Гришаева (Улубикова)... простите все, кого случайно, ненароком, не назвал, знаю, что вас значительно больше!

У меня нет сведений об именах братьев и сестёр моего прадеда Юсупа. А ведь у него наверняка были и братья, и сёстры. Не знаю я и имени рано умершей матери моей прабабушки Халими. Хотя некоторые предположения и догадки у меня есть. У моего прадеда Юсупа Улубикова были родственники, предположительно братья, которые эмигрировали вместе со своими семьями в Турцию в бурный период революции и Гражданской войны.

Как их звали? Турецкое правительство готово помочь отыскать нашу родню в Турции, но нужны хотя бы имена. На всякий случай сделал запрос в поисковой системе на Турцию и слово «Ulubeу» («Улубек»). Получил целый небольшой городок с таким названием на турецком побережье Чёрного моря. Может быть, его основали братья Юсупа?

Сведения о бабушкиной родне. Её родители жили там же, где и она до замужества, — в Шумалаке, или, как на официальной российской карте, в Татарском Шмалаке. Афи́я, дочь Айнетдина и Фяхринниси, имела сестру Нафисию, которая была на очень много лет старше её, по словам моей матери — на несколько десятков лет. Вполне может быть. У меня самого был двоюродный брат Биляля, я его хорошо помню, — старший сын старшего брата моего отца, разница в возрасте у Биляля со мной была в несколько десятков лет. Тем не менее он был мне не дядя, а брат — двоюродный.

Нафиса была замужем и жила в деревне Алеёво в том же Павловском районе Ульяновской области. У Нафиси были дочери: Мяргуб Айсина (замужем за Айсиным), Няйма, Мярфтюха, Мярфа. Ещё одна её дочь рано умерла, её имени моя мама не помнит. Дети Няйма-апы («апа» означает «тётя») — дочь Рашида, сыновья Рыза и Мифтях. Дети Мярфтюха-апы — дочери Халися, Хашия, Ханифия и сын Ханяфи. Дети Мярфа-апы — сыновья Анвер, Ханяфи и Рашид. Кстати, именно к своей двоюродной сестре Мярфе приехала в Баку из Пензенской области моя мама, познакомилась с моим отцом, вышла за него замуж, и родился я.

В 1921–22 годах в Пензенской области свирепствовали тиф и холера. Когда Нафиса заболела, её мать, моя прабабушка Фяхринниси, поехала из Шумалака в Алеёво ухаживать за дочерью. В итоге Нафиса выздоровела, а её мать заразилась холерой и умерла.

Был у моей бабушки Афи́фи брат Ильяс, который тоже жил в Шумалаке, у которого было четверо дочерей и то ли трое, то ли четверо сыновей. Ещё об одном рано умершем брате часто тосковала Афи́фия-аби: имени мама не сказала, но говорила, что он пёк хлеб и умел ловить птиц. Умер от холеры. А ещё в Шумалаке жил дядя моей бабушки — Усман-аби («аби» означает «дядя»).

Ещё две характерные черты села Усть-Уза (по словам моей матери): на свадьбах и праздниках вместо гармошки играли на скрипках; ко многим дорогим словам присоединяли окончание «стай» — причём нараспев. Мой прадед Юсуп был голубоглазым и светловолосым. Светловолосой в детстве была и моя мама. Светловолосыми почти до пяти лет были в детстве и я, и мой старший сын. А прабабушка Халимия с юности имела раскосые восточные глаза, прямую осанку, розовые губы и щёки как нарумяненные яблочки, её так и звали на селе — алмабыстай («алма» по-татарски — «яблоко»)...

Осталось упомянуть моих двоюродных братьев и сестёр, детей сестёр моей матери, — Мушвики и Закии. У Мушвики-апы были сыновья Джиханша (Володя) и Ханяфи (Фёдор) и дочери Халифя (Людмила) и Эльмира. Мужа звали Адилша (Николай). Жила она с семьёй в совхозе «Прогресс» Пензенского района. Полагаю, что окончание «ша» — того же свойства, что и в русских именах Федыша, Ваньша и так далее. У Закии-апы были дочери Нурджиган и Рушания и сыновья Рафик и Рушан. Ещё один сын, Мирза, умер в десятилетнем возрасте от кори. Мужа Закии-апы звали Харис. Жила она в Муратовке Павловского района Ульяновской области.

Продолжает пополняться моя домашняя библиотека о судьбах татар Сурского края и Ленинграда. Недавние обретения: «История татар Пензенского края» в двух томах Фатиха Мухомятовича Зюзина и Ряшида Ханяфиевича Алюшева, их же авторства книга «Усть-Уза». А недавно почта порадовала меня книгой из Питера от автора Альмиры Наимовны Тагирджановой — «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу. Путеводитель».

Огромное спасибо Альфие Абязовой за её помощь в собирании материалов. Надеюсь, что собранное непременно пригодится: повесть моя «Люблю и помню» не имеет и не может иметь завершения, ни пока мы живы, ни после нас, потому что своих нужно любить и помнить всегда.

Настя

Когда-то мама рассказала мне историю, которую она слышала от своего отца, моего деда Хасяна (в деревне его звали дедом Василием). После ранения в его третьей по счёту войне (до того он прошёл Гражданскую и финскую) его окончательно списали в трудовую армию. До самого конца войны деда дома не было, он работал на строительстве оборонных объектов. Вместе с ним был там товарищ, с которым он сдружился за время работы. Звали его Андреем. Тоже после ранения, но моложе деда.

Познакомились они у фельдшера, куда во время осмотра плохо заживающей дедовой раны привели молодого человека со странным, отрешённым выражением лица и судорожно сцепившимися руками. Это и был Андрей. Несколькими месяцами ранее у него случилось большое горе: ему сообщили, что во время бомбёжки его дом сгорел дотла, а вся семья погибла. И жена, и дети. И остался он один, без родных. В те годы такое было, увы, не редкостью. Вот и у путевой походчицы Ольги схожее горе. На мужа пришла похоронка, а ребёнка у них так и не было, не успели...

Горе сближает людей. Особенно когда они остаются совершенно одни. Так незаметно Ольга и Андрей сошлись и стали жить вместе. Прошло некоторое время, и на железнодорожную станцию

прибыл поезд с детьми-сиротами, собранными из разных мест. Время было очень тяжёлое. По каким-то причинам поезд застрял, а кормить детей стало нечем. Власти обратились к местным жителям с предложением взять к себе на содержание хотя бы по одному ребёнку.

Ольга, посоветовавшись с Андреем, ребёнка решила взять. Она хотела девочку. Пересмотрела всех детей и выбрала ту, которая почему-то запала ей в душу, — маленькую Настю. Но Настя была не одна, у неё был младший братик, Ванечка. Девочка смотрела большими умоляющими глазами на тётю Олю и держала за ручку братика. Она сказала, что без него не пойдёт никуда. Но женщина не посмела нарушить уговор с Андреем. Вечером она сообщила ему обо всём. Андрей сказал, что ладно — одного, но двоих ребятишек им не прокормить. Придётся искать другую девочку. Однако сколько бы Ольга ни ходила к сиротам, ни к кому другому у неё душа не лежала. А зачем брать в семью, если не по душе? Но однажды она решилась: будь что будет, заберёт обоих, не станет их разлучать. И забрала.

Дома к вечеру она велела детям залезть на печку и сидеть за занавеской, пока она не переговорит с Андреем. Наконец пришёл уставший, голодный Андрей. Ольга решила, что сначала накормит мужа, а уж потом обо всём расскажет, но он уже заметил странное шевеление на печке за занавеской. Не успел Андрей сделать и шага, как оттуда с криком бросились ему навстречу худенькая большеглазая девочка и её громко плачущий братик: — Папа! Папочка! Родной! Миленький! Ты нашёл нас! Родненький наш!..

Заклучив детей в объятия, Андрей, словно поражённый громом, стоял посреди избы. Его сцепившиеся руки не удавалось разжать ещё несколько часов.

Это действительно были его родные дети...

Ночь перед расстрелом

2016 год. Двадцать шестое марта. Мост через реку Парана — государственная граница Бразилии и Парагвая. Я, четверо моих детей и жена пешком идём по мосту от бразильского берега к парагвайскому, из города Фос-ду-Игуасу в город Сьюдад-дель-Эсте. Нас никто не останавливает ни на той стороне, ни на этой. Под мостом, внизу, возле воды мирно загорают на солнышке кайманы — местная разновидность крокодилов. Через несколько часов мы так же пешком возвращаемся из Парагвая в Бразилию... На пограничных постах обоих берегов — у нас ни возникает никаких проблем. Вроде как не в другую страну, а в соседнюю деревню сходили.

1979 год. Раннее утро девятого июля. Третья полка плацкартного вагона пассажирского поезда. Душно и пыльно. Я лежу на третьей полке, потому что дальше Приозёрска мне не продали билета, а значит, дальше я еду нелегально.

Советским гражданам запрещено перемещаться по территории своего государства вблизи государственной границы и находиться там без специального временного разрешения, согласованного с Комитетом государственной безопасности — КГБ СССР. А получить такое разрешение — очень трудная и долгая процедура. При этом в любой момент без всяких объяснений вам могут отказать.

Станция Элисенваара. Железнодорожные пути забиты грузовыми составами: цистернами с газом и нефтью, открытыми платформами с древесиной и металлом, закрытыми грузовыми вагонами. Мой поезд медленно начинает набирать скорость. Если бы я собирался пересечь советско-финскую государственную границу, то Элисенваара для этой операции — наиболее удобное географическое место. Отсюда до государственной границы ближе всего.

Но у меня иная цель. Я еду по запретной для меня и моих сограждан зоне. Без паспорта, без денег, без вещей. Почему? Без паспорта — на всякий случай. Без денег — потому что они кончились. Без вещей — потому что лето и потому что еду ненадолго. Как я собирался вернуться? Не знаю. От Приозёрска до Ленинграда у меня был билет. Дальше — ни туда, ни обратно — не было ничего.

За грязным, невымытым окном мелькнула станция Лахденпохья. Солнце уже светило вовсю, когда мой пассажирский состав проследовал через Хаапалампи. Неумолимо приближалась цель моего тайного путешествия — Сортавала. Там, за ней, над озером Кармаланьярви уже маячила гора Паасо, с которой виднелись крыши посёлка Хелюля... Но туда мне было уже не нужно. Мне до моей цели оставалось сто пятьдесят метров от вокзальной площади. Но эти сто пятьдесят метров мне так и не удалось пройти.

Пограничники! Внизу по всему вагону началась проверка паспортов. Паспорта, как я уже говорил, у меня при себе не было. Да и не помог бы он мне. А вот студенческая зачётка — была. Ни для чего. Случайно осталась в кармане куртки после возвращения с практики, с полевых работ. Но и это ничего не решало в моей ситуации. Вжаться в полку, переждать пограничников и выйти на вокзальную площадь — таков был мой ближайший план.

Увы, осуществиться ему было не дано. Народу в вагоне находилось немного. Паспортный контроль прошёл достаточно быстро. Я был почти уже у цели. Но бдительная женщина с ребёнком, плаксивой капризной девочкой, сидевшая глупо внизу подо мной на нижнем сиденье, подала пограничникам знак рукой и что-то шепнула. Я почувствовал на своей лодыжке крепкую руку, тащившую меня вниз. От отчаяния я со всей силы ударил ногой по зелёной фуражке пограничника,

которому принадлежала эта рука. Она отцепилась от меня, но через мгновение солдат начал звать на помощь своих сослуживцев и громко ругаться...

Сколько их было, я не помню. Вообще смутно помню все последующие события. Очнулся я в камере. Вскоре пришёл офицер. Сухонький, ниже меня ростом, лет тридцати пяти. С фамилией, которую я не забуду никогда, — капитан Верёвкин. Явился он с листом чистой белой бумаги формата А4 и потребовал, чтобы я на нём расписался. Я расписался, мне было всё равно в тот момент, потому что я понимал, что мне не позволят пройти те самые сто пятьдесят метров до цели. Мне уже вообще ничего не позволят.

— Ну и дурак! — довольным голосом произнёс капитан Верёвкин.

Фамилия, напоминающая о смерти через повешение, отметил я молча для себя. Он и внешне чем-то напоминал верёвку с петлёй.

— Я теперь на этом листе напечатано что угодно и объявлю, что это ты во всём сознался! Во всех злодеяниях! У меня есть твоя подпись!

Он рассмеялся, довольный своей речью. Мне было всё равно. Капитану это явно не понравилось, и он снова обратился ко мне:

— Ты оказал сопротивление советским солдатам. Ты незаконно проник в приграничную запретную зону. За все эти преступления ты арестован. Будешь сотрудничать с нами?

Я продолжал молчать.

— Ты отказываешься сотрудничать с властью? Ну что ж... Готовься. Тебя расстреляют. Не сейчас. Завтра. На рассвете. В пять утра за тобой придёт конвой.

— За что? А как же суд? — я пытался возражать, но получалось как-то вяло, неубедительно.

— Никакого суда для таких негодяев, как ты. Ты будешь застрелен при попытке к бегству.

— Я никуда не побегу.

— А нам всё равно, побежишь ты или нет. В документах будет указано: при попытке к бегству. Не ты первый, не ты последний. У нас всё отработано.

На этом наш разговор завершился. Дверь моей камеры захлопнулась. Я остался один на один со своими мыслями.

С чего всё началось? С любви. Я влюбился. Без единого шанса на ответное чувство. Она не хотела ни встречаться со мной, ни общаться, ни видеть меня. Почему? Всё просто. Её сердце было занято другим. Там тоже не было взаимности. Это обстоятельство почему-то не смягчило, а ожесточило её сердце. Поэтому шансов у меня не было и не могло быть никаких. Мы не встречались. Общаться со мной она тоже категорически отказывалась. Я всё понимал, но продолжал искать какие-то пути к сближению, захотелось увидеть места, в которых она выросла, увидеть её родителей, её дом. Я сказал ей об этом. Она пожала плечами и хмуро ответила:

— Ты никогда не сможешь побывать в моих краях. Я выросла в приграничной зоне. Без пропуска туда не попасть. А пропуска тебе никто не выдаст.

Раз есть нечто невозможное, значит, надо с этим как-то справляться. И я поехал в её город, зная, что её там нет, и не зная точно, там ли её родители. Короче, поехал, не зная ничего, кроме адреса, который она сообщила мне сама, считая его физически недостижимым для меня. И оказалась права. Я добрался до её города. Но не дошёл до её дома сто пятьдесят метров от вокзала.

Девятнадцатое июля 1979 года. Это был день моего рождения. Единственный день в моей жизни, который я провёл в тюремной камере. У меня было много времени до рассвета. Ночь только начиналась. Я стоял под маленьким зарешеченным тюремным окошком, находившимся где-то возле самого потолка, и читал наизусть свои стихи о любви, посвящённые девушке, выросшей в этом самом городе. Влюбившись, я посвятил теме любви тогда много стихов, памятью слаб не был и читать стихи мог наизусть часами. Не знаю, слышал ли их кто-нибудь в ту ночь. По крайней мере, охранники в камеру не заглядывали и читать стихи не запрещали. Временами чтение мне надоедало, тогда я умолкал. Но долго молчать, зная, что очень скоро за тобой придут и, вполне вероятно, убьют, как это и обещал капитан советских пограничных войск... было невыносимо. Невыносимо, потому что тебе только что исполнилось девятнадцать и это — твоя последняя ночь на земле... Как уместить эти два события в своём сознании? Для чего жил? Зачем умираю? И нужно ли что-то осознавать, если всё равно через несколько часов тебя не станет — «при попытке к бегству»? А ведь как убедительно звучит! Побежал. Догнать не смогли, начали стрелять, ну и как бы убили... в общем, случайно. Молодец, Верёвкин! Всё верно рассчитал. Кому поверят: труп или бдительным доблестным пограничникам, стоящим, как говорится, на страже интересов советского народа? Объяснил бы кто-нибудь тому народу, в чём его интерес от казни девятнадцатилетнего юноши.

Шагреневая кожа времени неумолимо сжималась. Вот и рассвет забрезжил. Послышалось пение первых утренних птичек. Красиво поют. Душевно. Как они называются? Какая разница? Теперь уже никакой... Слышишь шаги? Всё громче. Всё ближе. Это солдатские сапоги. Чёткий, спокойный, размеренный шаг. Это за тобой... За мной? Как? Разве уже пора? Куда? Мне некуда идти. Я тут никого не знаю. «При попытке к бегству». Какому бегству? Я не побегу! Не побегу!!!

В металлической двери заскрежетал ключ. Дверь, как мне показалось, медленно, очень медленно начала открываться. За ней возникли лица в зелёных фуражках. В камеру вошли двое солдат,

следом за ними — капитан Верёвкин. В руках у него была какая-то, вероятно очень важная, бумага...

Он передал её старшине и скомандовал:
— На выход!

Меня вывели во двор. Там уже стоял крытый автомобиль. Солдаты погрузили в него меня, сели сами, и машина поехала. Окон внутри салона автомобиля не было. Я не видел, куда мы едем, но догадывался для чего... Невольно вспомнились знаменитые набоковские строчки:

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывёт кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.
Закрыв руками грудь и шею —
вот-вот сейчас пальнёт в меня, —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.
Оцепенелого сознания
коснётся тиканье часов,
благополучного изгнания
я снова чувствую покров.
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг.

Мысли в голове скачут, не останавливаясь уже почти ни на чём. Вот промелькнула ещё одна шальная: откроются двери, начнут меня выводить, что если и впрямь — побегать? До финской границы не так уж и далеко. Есть шанс! Есть! Надо попробовать! Надо бежать! Надо! Пока живёшь — веришь. Пока веришь — живёшь. «При попытке к бегству», говорите? А вот поглядим, кто тут бегать умеет! Ты же бегун на марафонские дистанции! Сорок два километра сто девяносто пять метров! Ты же за институт бегал! За «Спартак»! У тебя второе дыхание открывается после тридцати пяти километров? Открывается. Прошлой осенью дистанцию Ленинград — Пушкин — Ленинград ты как пробежал? Отлично. Не первый, но в десятке. Тренер хвалил? Хвалил! Так что не всё потеряно! Не всё! Кажется, куда-то подъезжаем. Готовься. На старт! Внимание!..

Что это? Опять сортавальский железнодорожный вокзал? Куда меня ведут? На платформу? К поезду? Вагон дёрнулся один раз, второй, и пейзаж за окном медленно поплыл в обратном направлении... Снова мелькнули и исчезли знакомые надписи, но теперь уже в обратном порядке: Хаапалампи, Лахденпохья, Элисенваара... Наконец, Приозёрск. Здесь конвоиры оставили меня без присмотра, вернув мне мою студенческую

зачётную книжку. В ней, кстати, в то время стояли только отличные оценки по всем предметам. Не таким уж кровожадным оказался товарищ Верёвкин. Век не забуду...

«Радоваться жизни...»

Не горластые трубы гудят, не лобастые барабаны трещат, а ползут по занесённой снегом, продуваемой ветром земле железные вездеходы. И воют надсадно натруженные моторы. И грохочут неустанно, словно перемалывая смёрзшееся время, стремительные гусеницы.

И пусть вокруг чуть посветлело, но чумазый седой вездеходчик Денис не выключит фар, ибо солнышко не взойдёт над замороженными снегами, не покажется над горизонтом: что впереди, что позади — всюду полярная ночь.

И движутся, движутся упрямые машины, оставляя за собой едва различимые, снегом переметаемые колеи — следы будущей зимней автодороги. И становятся одна за другой на расстоянии усталого водительского взгляда деревянные вежи со светящимися крашеными вершинками.

Измотанные полусонные люди пересекают всеми тремя вездеходами широкую реку, скрытую льдами и снегом, и останавливаются на узкой прибрежной террасе перед подъёмом. Вокруг — пронизанная ветром сумеречная зона с низкими полупрозрачными облаками, а позади — дотлевающая узкая полоска горизонта: и рассвет, и закат одновременно.

Всю дорогу ветер дул в «спину» вездеходам, и потому весь поднятый гусеницами снег — мелкая пыль — на стёклах. Налип капитально, «дворники» не успевают смахивать. Боковые окна и снаружи, и изнутри покрыты слоем намертво приросшего к ним инея. Передние же, обогреваемые водителемской печкой, ещё кое-как поддаются. Денис, ворча, отдирает налипшие, примёрзшие куски.

В свете дополнительной надкабинной фары на мгновение что-то ярко блеснуло впереди: песок! Луч света попал прямо в округлый глаз зверька. И глаз этот сверкнул драгоценным васильковым сапфиром в ночи. Белое пушистое существо заматилось на свету, прячась за кустиками и сугробами. А потом успешно исчезло. Оленей диких нам с Денисом в этот раз не встретилось, а вот с зайчиком и превеликим множеством снежных куропаток по всему нашему пути довелось свидеться. Иной раз куропатки, словно очарованные гигантские белые бабочки, сами летели на наш свет, отворачивая в сторону лишь в последний момент.

Помимо мороза, наши здешние неприятели — глубокие и узкие, как рвы, овраги, способные обьязаться в любой момент, и речной лёд, местами вздутый, мутный, с буграми предательских трещин, под которыми может оказаться гиблая пуста.

Снег цепляется за любые препятствия на ровной поверхности, практически на глазах образуя надувы и сугробы там, где наши следы продавили ровную, почти лишённую снега поверхность тундры.

Петляя среди озёрных обрывов, мы приближаемся к тёмным кустам. Сквозь них приходится продираться вслепую. Ориентируясь по навигатору, я примерно знаю, где мы находимся, но что именно возникнет перед нами в каждый следующий миг, никто не станет ручаться: ни я, ни навигационное устройство. Продвижение вслепую длится бесконечно долго, но всё-таки оно когда-нибудь кончается.

Перед нами широкая бугристая ледяная река Нюдаяха. Берег низкий, зато вдали, под фарами, виднеется противоположный — обрывистый. Подъезжаем к нему по речному льду и начинаем искать место для выезда с реки. К нашему счастью, замечаем небольшую «полочку» среди обрывов и осторожно поднимаемся по ней. Теперь впереди нет кустов, практически голое, ровное пространство; но там, за ним, через несколько километров серьёзная река — Мессояха. С ней шутки плохи. Проверено.

И вот снова перед нами выскакивают отдельные кусты, а потом — сплошная их стена. Река. Берег обрывистый. Нам не спуститься. Начинаем разведку вправо. И снова удача! Метров через двести — более-менее пологий спуск, летом, вероятнее всего, песчаный. Коса. По ней съезжаем на лёд Мессояхи. И теперь идём левее, напротив того места, где сквозь кусты увидели реку. Кругом кромешная тьма. Полярная ночь долгая, длится всю зиму.

Мелкий снег крутится и сверкает, играет под фарами. Мы уходим с развилки и рвёмся к реке. К той же Мессояхе, которая там, на западе, гораздо шире и мощнее её же самой в том месте, где мы её недавно пересекли. До реки — четырнадцать километров... двенадцать... девять... шесть... два. С вездехода во все стороны, как осенние листья, слетают клочья снега. Впереди зеленоватым светом беззвучно полыхают ночные небеса. И кажется, что там, впереди, где всё полыхает в воздухе, действительно — край света. И земля обрывается. И нет уже ничего, кроме бездонного, сияющего изнутри живого неба!

А мы едем прямо туда! И доходим до края. Распахиваем люки и спрыгиваем из машины в снег, над которым высоко-высоко шевелится, переливаясь, нечто неопишимо волшебное. Вот оно — северное полярное сияние!

Мы стоим на краю высоченного обрыва. Внизу сверкает река. Обрыв тянется в обе стороны нескончаемой в длину вертикальной лентой. Красиво, конечно. Но нам нужен выезд к реке. А вот его здесь не предвидится. Пытаемся из последних

сил найти хоть что-то, хоть какой-то намёк на съезд. На это уходит ещё три часа. Бесполезно.

Остаётся последнее: вернуться к ближайшей буровой и выпросить там бульдозер, чтобы с его помощью сделать съезд к реке. Знаю: если есть, не откажут. Товарищи мои, Денис и Гамза, поддерживают эту идею. Денис, водитель-вездеходчик, — молдаванин; Гамза, дорожный инженер-строитель, — азербайджанец. Но здесь, на Крайнем Севере, все мы — северяне. И дело у нас здесь общее — проложить дорогу для людей сквозь бескрайние снега. Ну что ж, едем назад.

Назад всегда легче идти. Потому что идёшь по следу. А значит, идёшь уверенней. И это расслабляет. Не нужно всматриваться вправо и влево, нужно просто идти по монотонному следу. Но мы измотаны. И всюду — ночь. И нестерпимо хочется спать.

Кажется, что след впереди раздваивается, течёт, течёт, расслаивается на ходу. Слово в тёплых волнах. Едешь и покачиваешься, покачиваешься. А на ласковых волнах сияют солнечные арабески, вдали белеют парусники. Ни ветерка. Тишина. Как хорошо, покойно, безмятежно... Чей-то голос чуть слышен. Что-то знакомое. Голос такой знакомый, такой родной, это же... Да, это же доча моя поёт! Ах ты!.. Что там за слова?

Радоваться жизни самой,
Радоваться вместе с тобой
Я не разучусь, если только рядом,
Рядом будешь ты...

Ах ты, голубка моя, Ланочка моя, доченька! Где ты сейчас? Где прячешься, пятилетняя моя принцесса? А она всё смеётся и поёт. Ну-ка выходи! Я улыбаюсь и начинаю искать. Может, под столом? Справа? Слева? Я тянусь руками и... дотрагиваюсь до Дениса. Это был сон. Просто сон. Глаза Дениса закрыты, голова мерно покачивается.

Мы едем в вездеходе. Едем под гору. Всё быстрее и быстрее. А водитель спит. И я спал. Куда мы едем?! Там, впереди, огромный овраг! Овраг! Овраг!!! Денис! Очнись! Не спи!

Он открывает глаза. И тормозит. И тормозит! Мы спасены.

Девочка моя, доченька, кровиночка моя! Как же ты догадалась? Как? Как смогла прийти во сне и спеть самое главное? Именно то, что папе нужно сейчас: «Радоваться жизни самой, радоваться вместе с тобой...» Ты ждёшь меня, маленькое моё солнышко! Ты не разучишься радоваться, папа тебе обещает. Я обязательно вернусь, доченька. Я тоже не хочу, чтобы ты разучилась радоваться, кроха моя родная...

— Денис!

— А?!

— У тебя дети есть?

— Есть! У меня уже и внуки есть! Трое пацанов!

— Ты их любишь, Денис?

— Не-а! Не люблю! Я их а-ба-жа-ю! Ты что спрашиваешь? Это же внуки мои — бессмертие моё! Понимаешь?

Я смотрю, как он усиленно трёт глаза грязной от тосола и соляры ладонью и не может их разлепить. А мы — едем. Едем!

— Денис! Ты умеешь петь?

— Нет.

— Тогда пой!

— Так я же не умею!

— Всё равно! Главное — пой!

И мы поём, поём всю дорогу, Ланочка. Взрослые смешные дядьки песню поют. Ночью. Далеко-далеко. Среди снегов. В гремящем железном вездеходе. Всю мелодию перебрали. «Ра-до-вать-ся жи-з-ни са-мо-о-о-ой! Ра-до-вать-ся вмес-те с та-бо-о-о-ой!!!»

Мы обязательно вернёмся...

Слышите?! Вы слышите нашу песню?

Облако воспоминаний

Облако воспоминаний приходит ночью, возникает из безмолвного небытия, прячется мелкой росой в траве забвения, окутывает сердца метелью снов, скользит змеиной позёмкой по артериям и венам, беря сонную душу запахом тлеющего времени, подступая к горлу комом несбывшихся судорожных ожиданий.

Возникают из былого и безмолвно рушатся вдали древние горы, напоминая бушующие волны беспокойного океана. Блуждающие огни незримых городов проносятся сквозь изумлённое тело. И давнее горластое счастье снова зовёт тебя в еле слышное детство...

И нет тебя здесь. Ты — там, пока не покинуло твой дом облако воспоминаний, оставив лишь несколько дождевых искорок на предугреннем оконном стекле.

Свеча негасимая

«Эльдару Ахадову с поклоном и на добрую память. Виктор Астафьев, 14.02.2000 г.» (надпись на книге).

Не знаю уж, в который раз, обращаюсь к вечно измучивающему меня вопросу: зачем нужно писать стихи, да и нужно ли это кому-либо вообще?... Меня ли одного мытарит этот вопрос, спать не давая ни разуму, ни душе моей? Наверное, не только меня, наверное, и других всех, кто пробовал и пробует слагать строчки в стихи.

Господи, какая же сила нами движет? Зачем нам это? И если действительно это зачем-то нужно, то почему и мне выпало нести эту ношу? Мне-то, мне-то за что? За что?!..

Мало мне по жизни доставалось? Мало било и ломало по-всякому? Ведь и не держит же тебя никто за руку: так ты брось тогда, не пиши, забудь

навсегда!.. А не забывается никак. И пишется, несмотря ни на что. Как будто помимо воли своей какую-то Иную, неподвластную, управляющую Волю исполняет неугомонная душа, руки и глаза мои исполняют...

Видит Бог, никогда я не знал и доныне не знаю ответа ни на один из этих вопросов. Знаю, что не одного только меня они донимают. А на днях попалась мне в руки книга Виктора Петровича Астафьева «Затеси». Много там хорошего писано, многое мгновенно, и думаю, что навсегда, отложилось теперь в сердце. И кроме прочего всего—его раздумья о поэзии. Лучше этих душевных строк я до сих пор не читал, потому и с вами хочу поделиться...

«Талант—это сила. И сила могучая, мучительная к тому же, и не всегда талант попадает в тару, ему соответственную, иную тару огромный талант рвёт, будто селёдочную бочку, в щепу, в иной таре задыхается, прокисает...» (На мой взгляд, тара эта—душа и судьба человеческая.—Э. А.)

«Всякий дар мучителен, но мучительней поэтического дара, однако, нет на свете».

«У избранных и муки избранные, отдельные. Их судьба не всякому разуму по силам. Завидуйте, люди, поэтам, завидуйте, они так красиво, так весело, беззаботно проживают свою жизнь, но научитесь их прощать за то, что, беря на себя непомерный груз мучений и любви, они помогают вам быть лучше, жить легче и красивше. За сердечный уют ваш, за житейскую комфортность кто-то несёт тяжкий крест скитальца, ищущего и никак не могущего найти пристань в этом бесприютном мире... мятущейся душе не найти ни покоя, ни уюта, и мучения её, и тоска—это поэтовый удел, и он всевечен».

Не из радости, а из мук, из горя рождается истинная русская поэзия. Оттого её так много на Руси горькой. Оттого и жалеют, и ненавидят здесь поэтов, оттого и любят, и мучают их, часто до ранней смерти залюбивая...»

„И жизни нет конца, и мукам—краю“,—всевечная память поэту, изрёкшему эти великие слова, летящие во времени вместе с нами».

«Никто не бывает так наивен и доверчив, как поэт. За сотни лет до нынешнего просвещённого и жестокого времени стихосочинителя карали, жгли, забивали плетью, отсекали головы, убивали из пистолетов на дуэли, а он всё прёт и прёт навстречу ветрам, певец и мученик, надеясь, что ветры пролетят над ним, беды минуют его».

И не только в защиту себя, для спасения души своей в этой мятущейся жизни трудится стихотворец, он верит, что слово его спасёт мир от бурь и потрясений и если не заслонит человека от невзгод и бед, свалившихся на него, то хотя бы утешит. И так было всегда—поэзией двигала

вера в доброту и милосердие, поэт и музыкант всех ближе к небу и Богу».

Оттремели пышные и бестолковые, как всегда, казённые торжества по случаю астафьевского юбилея. Поразъезжалась чиновная и околокультурная братия из Овсянки, родины Виктора Петровича, где бывал я не так ещё давно при его жизни... Не хотелось мне там в то время топтаться в общей бестолковой куче, а свидеться с памятью о нём, по совести чувствовал, нужно бы... Потому, когда выпала такая оказия—посетить Овсянку с незрячими стихотворцами-любителями из литературной студии слепых поэтов, да и предложили они мне это сами,—съездил...

В тот день, едва мы оторвались от города, начал крапать дождичек. Пока в библиотеку-музей сходили, пока с экскурсоводом побеседовали, пока к родному дому писателя подъехали—дождичек превратился в дождь уже приличный... Не стану ничего пересказывать, слишком много воспоминаний нахлынуло там. Вспомнился его негромкий живой мужицкий голос, его взгляд—глубокий и мудрый взгляд человека, столько всего на свете белом перевидавшего... Горьки и светлы те воспоминания, где-то в области сердца остались они навеки...

Напоследок проехали мы на кладбище, подошли к чёрным могильным плитам, под которыми лежат Виктор Петрович и дочка его Ирина. И, хотя дождь не умолкал, решили пусть на мгновение, но возжечь и поставить у изголовья великого писателя простую тонкую восковую свечу, какие часто ставят в церквях перед ликами. Зажгли. Поставили. Стоим... А свеча-то не гаснет! Люди добрые, ведь это же чудо какое-то: ветер сквозит, дождь идёт, а... свеча не гаснет!..

В тот же миг ноги сами как приросли к святому для всех месту...

Свеча догорела до конца, так и не погашенная ни дождевыми каплями, ни ветром...

Каким же он запомнился мне? Весёлым. Его жизнерадостный, от сердца, открытый смех помню очень хорошо. В декабре 1995 года в помещении редакции литературного журнала «День и ночь» от всей души развеселил его мой застольный рассказ о первом знакомстве с Сибирью. Беседовали мы довольно долго, Виктору Петровичу кто-то пытался напомнить о времени, да он всё отмахивался. Впрочем, я и сам, увлечённый своим рассказом, сгоряча так и не заметил сновавших вокруг нас телевизионщиков. Только после, уже дома, увидел фрагмент нашей беседы с Астафьевым по телевизору. Видимо, повествование о моих приключениях пришлось ему по душе: отборного коньячку по ходу дела он, улыбаясь, подливал сам... Ещё от той нашей встречи у меня

сохранилась первая подписанная самим писателем книга.

Помню Виктора Петровича взволнованным и растроганным. Это было на церемонии посвящения в лицеисты одарённых ребят из Красноярского литературного лица. Вокруг писателя всегда вращались разные люди: чиновники от литературы и просто чиновники, литераторы, которым что-нибудь нужно было от него, просто восторженные поклонники и поклонницы. Быть назойливым — не в моём характере. Оттого, что ни разу я не навязал ему своего присутствия, непосредственное общение с ним было для меня бесценным, ибо случалось оно только естественным, ненамеренным образом. А в тот раз наши места в актовом зале дома Союза писателей случайно оказались рядом: он поздоровался и присел справа возле меня. Выступление юных лицеистов, церемония их награждения, посвящение в лицеисты новичков и само вручение учебных билетов ребятишкам — дела, которыми в тот день пришлось отчасти заниматься и самому Виктору Петровичу, всерьёз взволновали его. У него было доброе, отзывчивое сердце...

После того как молодёжь ушла, на чаепитии с Виктором Петровичем осталось несколько красноярских писателей и педагогов Литературного лица. Были Михаил Успенский, Сергей Задереев, Марина Саввиных, ещё несколько человек. Рассказывал он тогда о том, как разные политически ангажированные местные и московские организации постоянно обращаются к нему с просьбами высказаться по тому или иному событию, поддержать их позиции, и о том, как он устал от всего этого, постоянно отказываясь участвовать в этих сиюминутных игрищах...

Ещё помню великого писателя огорчённым до глубины души после заседания писательской организации, на котором как-то разом вылезли наружу все накопившиеся противоречия, взаимные обиды, обнаружился раскол в писательских рядах...

Виктору Петровичу было уже нелегко ходить. Он вышел, опираясь на палочку, встал перед всем обществом и в качестве аргумента против раскола организации зачитал отрывок статьи Валентина Курбатова. Я помню его резкий и гневный голос в тот вечер.

А ещё я помню Астафьева одиноким. Это было после торжественного праздничного концерта в Большом концертном зале города. Концерт был посвящён двухсотлетию со дня рождения другого великого русского писателя и поэта — Александра Сергеевича Пушкина. В зале присутствовали потомки Пушкина со всего мира, было множество людей из местной и приезжей культурной элиты общества, руководители города и края. И вот по окончании действия, когда народ стал расходиться, получилось так, что я поотстал от схлынувшей уже из зала толпы, увлёкшись беседой с одним

из потомков Александра Сергеевича, приехавшим из Иркутской области. В холле было уже наполовину пусто, когда я неожиданно для себя заметил впереди одинокую фигуру опирающегося на трость, медленно и тяжело идущего пожилого человека. Это был Виктор Петрович Астафьев. Помню, как поразила меня эта одинокость, тем более удивительная при том обилии людей бомонда и временщиков разного толка, которые постоянно вились вокруг!.. Никто не предложил ему помощи, никто вроде как... не заметил его! При том ажиотаже вокруг его имени, который ощущался всё время, это было невообразимо, но... Он был *одинок*. И ни одна живая душа этого не заметила в тот ликующий праздничный день.

Помню нашу с ним короткую беседу в День Победы. Мы сидели рядом на одном бежевом диване в кабинете председателя писательской организации. Он пригубил вина за ту самую Победу, за которую заплатил когда-то собственной кровью, и сидел тихий, задумавшийся о чём-то своём...

Все знали, какую тяжёлую борьбу вёл он в то время со своими болезнями, как держался на одном только своём несломленном великом духе. Мне захотелось как-то приободрить, поддержать Виктора Петровича. Я спросил у Астафьева, насколько интересно ему жить в нынешнее время, когда каждый день приносит что-то новое в жизнь общества, страны и мира в целом. И вдруг услышал в ответ совсем не то, что ожидал... «Нет, — сказал Виктор Петрович. — Всё уже было в моей жизни, и ничего интересного или нового, кроме давно мной ожидаемого и предвиденного, не будет. Одно только меня радует по-прежнему: Это когда солнышко утром восходит и птички поют...» И столько было мудрого спокойствия в этих его словах, что запомнились они мне с той поры на всю жизнь.

Прошли годы без Астафьева. Ещё вчера утром я полагал, что давно уже сказал на эту тему всё, что мог и на что имел право... Но тема захотела вернуться ко мне сама... И вернулась, хотя и с совершенно другого ракурса.

В поездке на дачу в эти выходные не было ничего особенного. И те же шашлыки стояли в «программе дня». И та же баня. Всё как обычно. Кроме одной детали: жена пригласила к нам гостей — семью из соседнего подъезда: маму с двумя дочками. Наш Тимур и их Соня вместе ездили в бассейн на тренировки, когда они ещё были. И то Тимурина мама Люба, то Сонина мама Ирина поочерёдно подменяли друг друга, довозя детей до бассейна и забирая их оттуда после тренировки. Совместные проблемы сближают.

Наше садовое общество называется «Берёзовая роща». Несмотря на название, рядом с нами замечательный сосновый бор — и слева, и справа,

и ниже дач до самого Енисея. Красивое место. Но не берёзовое, а сосновое.

Гости подъехали на час позже нас. Люба встретила их возле сворота с автотрассы, не зная о котором или не представляя себе, как он выглядит, его можно легко проскочить. Но в этот раз обошлось без приключений. Шашлыков нажарили. Отведали. Гостей попотчевали. Баньку затопили. И хотя уже вечер, но время ещё светлое. А баньке нужно время прогреться. Чем гостей занять?

Кто-то, похоже, что Люба, предложил сходить на сельское кладбище села Овсянка, там похоронен сибирский писатель Астафьев Виктор Петрович. От нашей дачи ходьбы — минут десять спокойным шагом, а бегом по тропке — вообще пять минут. Гости согласились. Мы оставили Тимуриного и Ланиного деда на банном хозяйстве, а сами отправились на кладбище: дети Ирины — Соня и Катя, наши дети — Тимур и Лана, подруги — Люба и Ира, ну и я с ними — Тимурин и Ланин папа, Любин супруг. Итого семеро.

Тропинка узкая — между заборами крайних дач и лесом. Затем неглубокий овражек. И на другом краю овражка — кладбищенские задворки. Светло. Тихо. Никого, кроме нас. Географически кладбище села Овсянка находится возле трассы «Енисей», справа от неё в лесном массиве, в сторону реки Енисей, если ехать из Красноярска, между сёлами Овсянка и Усть-Мана. А от нашей дачи — несколько сотен метров по пересечённой местности, на которой мои городские туфли несколько раз предательски скользили, поскольку и трава, и грунт после недавних дождей были весьма мокрыми.

Край кладбища села Овсянка представляет из себя заброшенную мусорную кучу из ветхих от старости, сгнивших и полусгнивших останков развалившихся искусственных венков, цветов, траурных лент... Всё перечисленное — в стадии крайнего разложения, не сразу можно понять, чем это всё когда-то было...

Мы слышим и читаем постоянно о том, как красноярцы и россияне гордятся писателем Астафьевым, как они его любят. Я был на кладбище, где, помимо могил семьи Астафьевых, совсем рядом, в нескольких десятках метров, находится мусорная куча — олицетворение реального уважения и любви к русской литературе. Там покоятся соседи, друзья, родственники великого русского писателя. Кладбище небольшое, сельское, здесь все — свои, все близкие, чужих нет... Чтобы прибраться, достаточно нескольких дней работы волонтеров.

На кладбище много семейных участков, где рядом похоронены муж и жена, иногда и их дитя, как у астафьевского комплекса из трёх могил: дочери Ирины, Виктора Петровича и его супруги Марии Семёновны. Три надгробных камня. На первом — только имя — «Ирина». На втором — только подпись писателя и даты жизни: «1924–2001». На

третьем — скромно: «Мария Семёновна». Она скончалась в 2011-м, пережив великого мужа на десять лет. На участке, в периметре ограды, напротив могил — округлая скамья. В дальнем углу — поминальный столик на несколько человек.

Рядом, на семейных участках нескольких сельчан, видимо, наиболее известных и уважаемых в кругу земляков, всё значительно скромнее, но примерно в том же духе. В одном месте, ограниченном оградой на несколько могил, заметил поминальные стаканы. В другом — специальную баночку от ветра для свечи, чтоб не сразу сбивалось пламя.

Заметил, что у некоторых могил нет могильных плит, зато внутри периметра, выложенного бордюрным прямоугольником, высажены в землю живые цветы. Значит, родные помнят человека... Постояли. Помолчали. И пошли обратно. Обратный путь, кстати, показался вдвое короче. Начало смеркаться.

Гости и хозяйва поочередно парились в баньке, младшие — Сонечка и Тимур — несколько раз выскакивали разгорячённые из парной и с энтузиазмом и визгом ныряли в детский надувной бассейн с водой, прогретой за день до температуры окружающего воздуха.

Ребятня потом долго ещё не могла утомиться. То у них чаепитие, то выпрашивают сладкое, то хихикают под одеялом. Женщины с детьми улеглись на втором этаже. Мы с дедом — внизу. Дед хорошо протопил печку. В домике всю ночь было достаточно тепло. Даже душновато.

Проснулся я среди ночи в душной темноте от ровного громкого неумолчного шума дождя. Не помню в каком часу. Громыкнуло вдали. Вскоре — ближе. Затем — совсем рядом, где-то почти над дачным домиком. Добавил в чайник воды и включил его. Вышел проветриться на открытую веранду, где воздух свежий, но над головой крыша, поэтому сухо...

Все спят. Полная темнота. Ливень усиливается. То и дело грохочет гром и сверкают молнии. Вдали, через дачную улицу, за чьей-то соседской оградой мигают огоньки сигнализации, вероятно, на автомобиле. Вернулся в кухню, вода закипела. Налил в кружку при свете молний. Свет не стал включать, дабы ненароком не разбудить остальных. Заварил в кружке пакетик чая и вернулся на веранду, устроился в деревянном кресле-качалке, подаренном женой на один из прошлых юбилеев. Кружку с чаем поставил перед собой на стол.

Через мгновение мне почудилось, что за мной кто-то следит. Но вокруг только шум невидимого дождя да слабенькое отдалённое мигание чьей-то соседской автосигнализации. Больше ничего нет. Однокое ощущение чужого присутствия не исчезает, а усиливается.

Закрываю глаза и вдруг вижу перед собой одно из помещений Красноярского литературного

музея. Большое печальное застолье. Поминки по Астафьеву. И такой широкий, печальный, по-детски беззащитный голос Сергея Даниловича Кузнецихина, уже принявшего рюмку или две: «Залобили мужика до смерти». А за порогом — вьюга плачет, завывает. Похожая на бесконечную очередь прощающихся с великим русским писателем в зале Красноярского краевого краеведческого музея.

При чём тут всё это? К чему вспомнилось вдруг?... Повеяло нездешним холодом. Раскрываю глаза и вижу на расстоянии, но не так чтобы далеко — возле дальнего угла нашей теплицы, три бледных свечения и вдруг понимаю: это они! Ближнее пятно — Мария Семёновна, юркая, глуховатая, неугомонная. Та, какой я её помню по жизни. За нею, как бы ею прикрываемый, — Виктор Петрович Астафьев, тоже в точности такой, каким я его после концерта запомнил на Пушкинском празднике: седенький, в парадном костюме и валенках. Потому что шибко у него в ту пору мёрзли ноги, несмотря на летнюю погоду. Ирину я не помнил, третье световое пятно находилось поодаль от двух первых.

В говорении слов не было никакой нужды. Мы понимали друг друга как бы из сознания в сознание, когда смысл ясен, хотя вслух ничего не произносится.

«Мария Семёновна, помните меня?»

«Нет, не помню. А ты кто?»

«А я с книжкой своей к вам на этаж в Академгородке поднимался. „Вся жизнь“ называлась. Вы обещали супругу передать от меня на память».

«Ой, да где уж мне всех дарителей-то упомнить? Не взыщи, не помню тебя, сынок. А за книжку спасибо».

«Вам спасибо, Мария Семёновна, я видел её потом в мемориальной овсянковой библиотеке-музее. В кабинете Астафьева...»

«Виктор Петрович, как мне теперь вас звать-величать? Как обращаться?»

«А как раньше звал?»

«Петровичем».

(Серчает.)

«Ну так и зови, как раньше звал. Разве для нас что-то изменилось?...»

«Петрович, а вы там встретили того, на чей почерк хотели взглянуть однажды в Москве?»

«Николая Васильевича? Встретил. Со всеми, с кем хотел, свиделся».

«И что он, впрямь без знаков препинания писал?»

«Правда». (Улыбается, довольный.)

Дождь усиливается, вспышки молний и громовые раскаты, наоборот, начинают удаляться. Свечения, и без того неяркие, бледнеют.

Пытаюсь напомнить Петровичу о случае, когда я явился к нему во сне.

«Помните, ко мне подъехала золотая карета? В ней открылась дверца, и меня поманила чья-то

старческая рука в перстнях. Не ваша. Я вошёл в карету и в тот же миг оказался сидящим на скамейке напротив вас в старинной венецианской гондоле, управляемой мрачноватым мужчиной в чёрном при пылающем факеле. Такие же факелы мерцали возле собора Святого Марка. Мы молча плыли по каналу... Что это было?»

Однако пока я пересказывал ему эту историю из моего давнего сна, случившегося уже после его кончины, три свечения окончательно растворились в предрассветном воздухе.

Так я и не узнал его ответа... Интернета на даче не было. Мы вернулись в город около трёх часов дня. Наконец, добравшись до ноутбука, включаю его, захожу в «Фейсбук» и вижу приглашение на передачу Константина Александровича Кедрова, с которым мы в октябре прошлого года, вместе с Костей Свиридовым и Сашей Карпенко, устроили «побег» к дикому берегу Каспийского моря. Константин Александрович повествовал о Твардовском и... вдруг перешёл на Астафьева, вспомнив о том, как на церемонии награждения Пушкинской премией Виктор Петрович рассказывал ему о том, как односельчане (Константин Александрович так и не сумел вспомнить название — Овсянка, но это в данном случае не так уж и важно) допытывались у него, как прежде у Твардовского его земляки: «А ты пишешь из того, что в памяти, или... так?» — «Или так», — отвечали и Твардовский, и Петрович. Я сразу представил себе выражение лица Петровича: с его всегдашней, вроде простоватой, но о-о-о-очень мудрой хитринкой и лучиками улыбки в уголочках глаз.

Вот такая выдалась у меня сегодня ночь воспоминаний. Самая короткая в году, между прочим. В канун двадцать второго июня...

Я не знаю: читал ли Виктор Петрович мою книгу, которую я передал его супруге Марии Семёновне, заглянув однажды в их всегда гостеприимный дом в Академгородке. Надеюсь, что успел полистать. Он тогда лежал в больнице после очередного кризиса. Мария Семёновна поблагодарила меня, участливо спросив о трудностях с финансированием издания поэтических произведений. А книга называлась «Вся жизнь» — в память о той нашей беседе с Виктором Петровичем.

Август

Растекутся мысли по дереву жизни. Попрячутся по дулам сознания и следят оттуда, аки белки смородиноглазые, за тёмно-васильковым ночным небом, за огненными росчерками невидимого пера. Желания загадываются. А перо всё пишет да пишет. А поднимется туман, пробежится дождик по клавишам листвы, замелькают мыслята у самых корней — и дальше, дальше, по лесным полянкам солнышка дожидаться. Август. Самое время.